

П. В.
АННЕНКОВ

Сочинения



Павел Анненков

Пушкин в Александровскую эпоху

«Public Domain»

1874

Анненков П. В.

Пушкин в Александровскую эпоху / П. В. Анненков — «Public Domain», 1874

«...При составлении этих очерков первых впечатлений и молодых годов Пушкина мы имели в виду дополнить наши «Материалы для биографии А.С. Пушкина», опубликованные в 1855 г., теми фактами и соображениями, которые тогда не могли войти в состав их, а затем сообщить, по мере наших сил, ключ к пониманию характера поэта и нравственных основ его жизни. Несмотря на все, что появилось с 1855 г. в повременных изданиях наших для пополнения биографии поэта, на множество анекдотов о нем, рассказанных очевидцами и собирателями литературных преданий, на значительное количество писем и других документов, от него исходивших или до него касающихся; несмотря даже на попытки монографий, посвященных изображению некоторых отдельных эпох его развития, — личность поэта все-таки остается смутной и неопределенной, как была и до появления этих работ и коллекций...» (П.В. Анненков)

Содержание

Пушкинская трилогия П.В. Анненкова	5
I	9
I	11
II	22
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Павел Васильевич Анненков

Пушкин в Александровскую эпоху

Пушкинская трилогия П.В. Анненкова

Имя Павла Васильевича Анненкова принадлежит к плеяде тех замечательных деятелей русской культуры прошлого столетия, которые после 1917 года были преданы почти полному забвению. Если не считать переизданного в 1928 году томика его «Литературных воспоминаний», быстро ставших библиографической редкостью, да мемуаров о встрече с Н.В. Гоголем в Риме в 1841 году, об Анненкове обычно упоминали только в связи с А.В. Дружининым и В.П. Боткиным как об одном из оппонентов революционеров-демократов. Попытки представить его объективный портрет носили единичный характер, а их результаты становились известны только узкому кругу специалистов¹.

Положение стало меняться к лучшему в 80-ые годы, когда начинают переиздаваться сперва отдельные литературно-критические статьи Анненкова, затем его «Литературные воспоминания», «Парижские письма» и, наконец, в 1984–85 гг. дважды переиздаются его «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина». Опубликованные большим тиражом, снабженные обстоятельными вступительными статьями и комментариями, эти книги не только расширили представление современного читателя о литературной и общественной жизни России и Западной Европы почти за три четверти минувшего столетия, но и представили крупным планом портрет своего автора. Тем не менее, возвращение П.В. Анненкова в современную культуру нельзя считать целиком состоявшимся. И дело здесь не только в том, что переиздано далеко не все его литературно-критическое наследие, но и в том, что из самой ценной части его исследований – из его пушкинистики – читателю-современнику доступны лишь уже упомянутые «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина».

Между тем сама эта работа является только частью пушкинских штудий Анненкова. Подготовленные к 1853 и изданные в 1855 году, «Материалы...» первоначально были задуманы их автором как завершенное исследование биографии и творчества великого русского поэта. Однако немало документов, собранных Анненковым в процессе работы над «Материалами...», осталось за его пределами. Причины, по которым это произошло, носили не творческий, а цензурный характер. Сам Анненков, несмотря на восторженные оценки современников, осознавал неполноту публикуемой им биографии и объяснял это в письме к известному историку М.П. Погодину давлением внешних обстоятельств: «Что в молодости и кончине (А.С. Пушкина – И.Е.) есть пропуски – не удивляйтесь. Многое даже из того, что уже напечатано и известно публике, не вошло и отдано в жертву для того, чтобы, по крайней мере, внутреннюю жизнь поэта сберечь целиком»².

Каков был характер внешних обстоятельств, подтолкнувших первого биографа Пушкина на пропуски «в молодости и кончине» поэта, можно судить по опубликованным им в семидесятых годах мемуарным запискам «Любопытная тяжба». Заметки эти посвящены истории борьбы Анненкова с цензурным комитетом в пору подготовки им собрания сочинений Пушкина. Воспроизведем только один, но вполне характерный эпизод этой борьбы, связанный с пушкинской статьей «Российская академия».

¹ См.: Егоров Б.Ф. Эстетическая критика без лака и дегтя: В.П. Боткин, П.В. Анненков, А.В. Дружинин // Вопросы литературы. – 1965. – № 5.

² Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина: В 22 т. – СПб, 1888–1910. – Т. XIV. – С. 170.

Цензурный комитет, в частности, запрещает публикацию пушкинской выписки из журнала «Собеседник любителей русского слова» за 1783 г., где приводятся вопросы Д.И. Фон-Визина и ответы на них императрицы Екатерины II: «Вопрос фон-Визина: Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют и весьма большие? Ответ: Сей вопрос родился от свободоязычия, которого наши предки не имели.» Издатель (Анненков) разъясняет цензорам: «Первое есть выписка из старого журнала, в котором участвовала, как небезызвестно, сама императрица Екатерина II. На дерзкий и неосновательный вопрос фон-Визина она возразила строго, что заставило, как тоже небезызвестно, самого фон-Визина просить прощения в неосмотрительности своей»³. Несмотря на эти разъяснения издателя, цитата из вполне благонамеренного журнала минувшего столетия цензурой окончательно отвергается.

В таких условиях нечего было и думать ни об изложении даже в самой лояльной по отношению к правительству форме умонастроений Пушкина периода южной и северной ссылки, ни о последних годах его жизни, прошедших в атмосфере глухой неприязни властей к поэту. По свидетельству брата пушкинского биографа Ф.В. Анненкова, многочисленные документы, собранные в начале 50-х годов, уже первоначально разделялись на два свода – документы «для сведения» и документы «для печати». Первый из них пролежал под спудом почти двадцать лет, пока в начале семидесятых годов П.В. Анненков не получил возможность заполнить «пропуски в молодости» Пушкина, подготовив фундаментальную работу «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. По новым документам.» Опубликованная сперва в «Вестнике Европы», в 1874 году она вышла отдельной книгой. Спустя шесть лет, в 1880 году, в том же «Вестнике Европы» Анненков публикует крупную статью «Общественные идеалы А.С. Пушкина. Из последних лет жизни поэта», заполняя таким образом последний «пропуск» в своей пушкиниане. Издаваемые с большими интервалами на протяжении четверти века, три этих исследования, тем не менее, обладают большим внутренним единством и целостностью, которые объясняются не столько единством предмета, сколько единством метода исследования и личности исследователя.

Сущность этого метода П.В. Анненков изложил в предисловии ко второй биографической книге о Пушкине, полемизируя со своими оппонентами: «По всему смыслу их возражений и обвинений необходимо заключить, что, в их мысли, образы замечательных людей русской земли должны быть создаваемы на каких-либо особых основаниях, а не на истине и неопровержимых фактах. Мы протестуем всеми нашими силами против этого растлевающего учения и думаем, основываясь на успехах общественного нашего развития, что такое учение мало найдет себе последователей в среде читающей нашей публики, в какой бы скрытой или наружно-благовидной форме ей ни предлагалось»⁴.

То, что пушкинская биография Анненкова основана на «неопровержимых фактах» – рукописях поэта, периодике его эпохи, мемуарах современников, – стало одной из причин, обеспечивающих ей долгую жизнь. Одной, но не единственной. При всей своей неприязни к доктринерству, подчиняющему преднайденной идее всю полноту противоречиво-богатой действительности, первый биограф Пушкина был столь же решительным противником позитивизма.

В черновом варианте предисловия ко второй части своей пушкинской трилогии Анненков писал: «Достоинство и правда каждого жизнеописания состоят вовсе не в верности его слагаемых разноречивым историческим законам, собранным им (биографом – И.Е.) о лице, а в верности собственному своему представлению лица, которое возникло или должно было возникнуть у него при разборе этих данных, и потом в живой передаче своего представления. По крайней мере, все европейские биографии, способствовавшие водворению того или иного

³ П.В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. – СПб, 1892. – С. 420–421.

⁴ П.В. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. 1799–1826 гг. – СПб, 1874. – С. VIII.

понимания замечательных лиц западной цивилизации, достигали предложенных ими целей не иначе, как осуществляя тип или идеал, сложившийся в уме их автора при изучении источников для своего труда»⁵.

Может показаться, что две декларации анненковского исследовательского метода – верность «неопровержимым фактам» и «верность собственному своему представлению» – отражают непоследовательность и противоречивость мышления первого пушкинского биографа. Таким непоследовательным оно представлялось и многим его современникам. По свидетельству А.Я. Панаевой, И.С. Тургенев однажды сказал: «Заметили ли вы, господа, что от Анненкова никогда не услышишь его собственного мнения. Я часто для потехи говорю ему одно, и он глубокомысленно поддакивает, через несколько времени говорю другое, и он опять поддакивает»⁶. Аналогичное впечатление сохранилось и в памяти Л.Н. Толстого: «Анненков весел, здоров, все так же умен, *уклончив...*» (выделено мною – И.Е.)⁷.

Между тем противоречивость, непоследовательность и «уклончивость» Анненкова при более внимательном отношении к нему оказываются мнимыми. Действительно чуждый групповых и партийных пристрастий, способный присоединиться к известной автохарактеристике А.К. Толстого «двух станов не боец, а только гость случайный», Анненков, однако, достаточно рано определил свою общественную и нравственную позицию. В качестве ее декларации можно рассматривать его статью «Литературный тип слабого человека», опубликованную в 1858 году в журнале «Атеней» и явившуюся полемическим откликом в адрес Н.Г. Чернышевского, автора статьи «Русский человек на rendez-vous».

Непосредственным предметом этой полемики, как известно, послужила повесть И.С. Тургенева «Ася», но мысли, которые Анненков высказал по этому поводу, выходят далеко за пределы собственно изящной словесности. В центре анненковских суждений находится оппозиционная пара «цельный характер» – «слабый человек», которые он рассматривает как два полярных типа русского национального характера. «Мы разумеем под «цельными характерами», – пишет Анненков, – тех людей, которые следуют в больших и малых вещах одним потребностям собственной природы, мало подчиняясь всему, что лежит вне ее, начиная с понятий, приобретенных из книг, до мыслей, полученных процессом собственного мозгового развития»⁸. В противоположность им «слабый человек» характеризуется способностью соизмерять «собственную природу» с тем, что «лежит вне ее», с потребностью слушать и слышать не только собственный голос, но и голоса жизни. Не причисляя своего оппонента к «цельным характерам» и не отождествляя себя самого со «слабым человеком», Анненков тем не менее отдает предпочтение последнему: «... круг так называемых слабых характеров есть исторический материал, из которого творится самая жизнь современности. Он уже образовал как лучших писателей наших, так и лучших гражданских деятелей, и он же в будущем даст основу для всего дельного, полезного и благородного»⁹.

При всем внешнем несходстве предметов рассуждения в статье о тургеневской повести и в методологическом предисловии к монографии о Пушкине, они внутренним образом связаны. И в том, и в другом случае Анненков восстает против произвольного конструирования действительности в угоду «каких-либо особых оснований» или «потребностей собственной природы. И то, и другое, согласно его убеждениям, должно органическим образом вырастать из

⁵ Цит. по: Фин Л.А. П.В. Анненков, первый издатель и биограф Пушкина // А.С. Пушкин. 1837–1937. – Саратов, 1937. – С. 142–143.

⁶ Панаева А.Я. Воспоминания. – М., 1948. – С. 231.

⁷ Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. – М., 1965. – Т. 17. – С. 176.

⁸ <Анненков П.В> Воспоминания и критические очерки. Сборник статей и заметок П.В. Анненкова. Отдел второй. – СПб, 1879. – С. 150.

⁹ Там же. – С. 172.

«истины и неопровержимых фактов». Такая позиция сродни пушкинскому мироотношению, высказанному поэтом в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы»:

Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
.....
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

Изучению языка пушкинской жизни и посвятил Павел Васильевич Анненков почти три десятилетия. Теперь плоды этого изучения становятся доступны современному читателю в полном объеме. Нам остается надеяться, что они, говоря словами самого нашего первого пушкиниста, дадут «основу для всего дельного, полезного и благородного» и нынешней культуре.

Игорь ЕГОРОВ

I

Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху

При составлении этих очерков первых впечатлений и молодых годов Пушкина мы имели в виду дополнить наши «Материалы для биографии А.С. Пушкина», опубликованные в 1855 г., теми фактами и соображениями, которые тогда не могли войти в состав их, а затем сообщить, по мере наших сил, ключ к пониманию характера поэта и нравственных основ его жизни. Несмотря на все, что появилось с 1855 г. в повременных изданиях наших для пополнения биографии поэта, на множество анекдотов о нем, рассказанных очевидцами и собирателями литературных преданий, на значительное количество писем и других документов, от него исходивших или до него касающихся; несмотря даже на попытки монографий, посвященных изображению некоторых отдельных эпох его развития, – личность поэта все-таки остается смутной и неопределенной, как была и до появления этих работ и коллекций. Характеристика поэта, как человека и замечательного типа своего времени, не только не подвинулась вперед с эпохи его неожиданной смерти в 1837 году, но еще спуталась, благодаря тенденциозности одних толков о нем и одностороннему панегирическому тону других. В виду близкого открытия памятника, которым Россия намеревается почтить заслуги Пушкина делу воспитания благородной мысли и изящного чувства в отечестве, на совести каждого, имеющего возможность пояснить некоторые черты его нравственной физиономии и тем способствовать установлению твердых очертаний для будущего его облика – лежит обязанность сказать свое посильное слово, как бы маловажно оно ни было. Исполнению этой обязанности мы и посвятили наш очерк первого, Александровского периода Пушкинской жизни, – периода, который положил основание всему дальнейшему развитию его идей и направления. Если нам удастся одинаково устранить два противоположных воззрения на Пушкина, существующие донныне в большинстве нашего общества, из которых одно представляет его себе прототипом демонической натуры, не признававшей ничего святого на земле, кроме своих личных или авторских интересов, а другое, наоборот, целиком переносит на него самого всю нежность, свежесть и задушевность его лирических произведений, считая человека и поэта за одно и то же духовное лицо, – то цель очерка будет вполне достигнута. Прибавим в заключение, что мы положили себе правилом не повторять в нем фактов и подробностей, однажды напечатанных, так как полагаем, что русской публике должно быть известно все сообщенное ей об одном из замечательнейших ее соотечественников. В крайнем случае, где мы были приведены ходом рассказа к такому повторению, мы указываем на источники, откуда почерпнули известие. Такому же воздержанию от повторений мы подчинили себя и при изложении литературных мнений, явлений и журнальных споров той эпохи.

—

Издавая ныне наши очерки отдельной книгой, мы не можем, однако, не сказать несколько слов о той части современной нам журналистики, которая, при первом появлении нашего труда отдельными статьями на страницах «Вестника Европы», устами своих публицистов выразила мнение, что трудом нашим оскорбляется память поэта и понижается его личность. Конечно, мы не имеем права ставить в вину подобным публицистам того, что они не распознали наших намерений и не могли усмотреть в первой попытке правдиво отнестись к характеру и жизни поэта – настоящей ее цели, а именно, поставить это великое имя вне и выше смутных толков его

недоброжелателей, а также и непризванных его судей, которых у него еще много и доселе. Все это уже не зависело от воли самих критиков нашего труда. Но есть черта в их полемике, которую мы никак не можем пропустить без внимания. По всему смыслу их возражений и обвинений необходимо заключить, что, в их мысли, образы замечательных людей русской земли должны быть создаваемы на каких-то особых основаниях, а не на истине и неопровержимых фактах. Мы протестуем всеми нашими силами против этого растлевающего учения, и думаем, основываясь на успехах общественного нашего развития, что такое учение мало найдет себе последователей в среде читающей нашей публики, в какой бы скрытной или наружно-благовидной форме ей ни предлагалось.

П.А.

I

До Лицея

1799–1811

Две фамилии: Ганнибалы и Пушкины. – Легендарная биография Абрама Ганнибала. – Записки его сына Петра. – Связи, воспитание и настроение Пушкиных. – Детство поэта. – Проект собственных его записок о своем детстве и пребывании в лицее.

Не надо быть рьяным поклонником учения о неотразимом действии физиологических и нравственных свойств родоначальников семей на все их потомство, чтобы верить в возможность фамильной передачи некоторых крупных психических особенностей со стороны отца и матери своей ближайшей отрасли. Некоторое изучение характера и натуры А.С. Пушкина неизбежно приводит к заключению, что в основе их лежат унаследованные черты и отличия двух родов – Ганнибаловых и Пушкиных, только значительно переработанные и облагороженные их знаменитым потомком. Любопытно, поэтому, присмотреться ближе к двум элементам, которые, так сказать, вошли в состав нравственного существования А.С. Пушкина и частью определили его.

Нет никакой надобности для этого повторять здесь еще раз факты и сведения о семействе будущего поэта, собранные и опубликованные прежде. Отсылая по этому предмету читателей к нашим «Материалам» и к позднейшим сборникам, мы ограничиваемся в настоящем случае только задачей обрисовать несколько полнее, чем было сделано доселе, два своеобразных фамильных типа, которые дали жизнь поэту и сообщили ему первый психический материал, развившийся потом в замечательную личность с другим выражением и с новыми, неизмеримо высшими нравственными стремлениями и задатками: один из этих типов был коренной русский и дворянский, тот самый, который возник в среде помещиков прошлого столетия, еще помнивших эпоху Петра I-го (представителями его были Ганнибаловы), а другой – полу-русский и полу-французский, который образовался к концу царствования Екатерины II-й и хорошими представителями которого можно считать Пушкиных с отцом поэта, Сергеем Львовичем, во главе.

Дети знаменитого негра Абрама Петровича, родоначальника фамилии Ганнибаловых, не отстали, как известно, в чинах от своего отца: так, Иван Абрамович, более всех их дельный и отличившийся на службе, был генерал-поручиком, а брат его, Петр, носил название генерал-аншефа от артиллерии. Со всем тем можно полагать, что образование их нисколько не превышало уровня общего домашнего воспитания, получаемого тогда всеми дворянскими недорослями. Они имели перед ними одно только преимущество: отец их, прошедший через руки Петра I-го и побывавший за границей, сообщил им, вероятно, ту часть математических познаний, которою сам обладал. Этого одного уже достаточно было для устройства им хорошей карьеры: они жили в то время, когда, по свидетельству записок почтенного секунд-майора Данилова, даже простое знание русской грамоты, делавшее человека способным на занятие учительского места, могло освободить его от торговой казни за уголовное преступление и перевести с площади прямо в школу. Вообще, не следует забывать, что многое после Петра I-го творилось у нас скорее через посредство вдохновения, энтузиазма и решимости, чем через посредство знания и опытности. Что-то в роде «благородного риска» присутствовало всюду, и, благодаря политическому состоянию Европы, замыслы и планы, подсказываемые этим «риском», часто венчались полным успехом. Если можно было командовать флотом и одерживать морские победы, в роде Чесменской, без опыта и основательных сведений в мореплавании, то нет причины полагать, что строитель Херсона, генерал-поручик Иван Ганнибал,

воспетый Пушкиным, был чудом своего века и отличался солидным образованием и высоким государственным умом. По крайней мере брат его, упомянутый выше генерал-аншеф от артиллерии, Петр Ганнибал, получивший с ним одинаковое воспитание, оказывается в сущности очень простым, почти безграмотным человеком, как увидим ниже из собственноручной его записки.

Да и сам родоначальник фамилии, сделавшийся, благодаря нашему поэту, почти что историческим лицом, негр Абрам Ганнибал, при ближайшем рассмотрении является совсем не тем блестящим человеком, каким представил его Пушкин в образцовом своем романе «Арап Петра Великого». По этому поэтическому свидетельству, арап вполне отдался влиянию двора французского регента Филиппа Орлеанского, к которому был послан для окончания образования, переняв у тогдашней французской аристократии ее приемы, внешнее достоинство и тон самоуважения в самой служебной и всякой другой подчиненности. Точные исследования академика П.П. Пекарского, который в своем капитальном труде «Наука и литература при Петре Великом» приводит письмо Ганнибала из Парижа в Петербург, показали, что Абрам Петрович просто записался во Французскую инженерную школу, жил в крайней бедности, сделал поход в Испанию и рад был возвратиться на родину. Это – далеко от шумного, светского и привольного существования военных придворных двора регента, которые, поэтому, и не могли сообщить ему лоска своей образованности. Конечно, с типом арапа, представленным А.С. Пушкиным, весьма мало вяжется следующая черта, им же приводимая из жизни Абрама Петровича. Укрытый, после самовольного бегства со службы, близ Ревеля, арап наш провел десять лет в постоянном трепете за себя и вздрагивал при всяком звуке почтового колокольчика, напоминавшего ему роковую курьерскую тележку, – что осталось у него на всю жизнь, по замечанию того же биографа. Даже сотоварищество его с незнатной молодежью Франции не могло изменить его абиссинскую, мягкую, трусливую, но вместе вспыльчивую природу. Она вполне сберегла все свои родовые особенности, а в том числе и склонность к невообразимой, необдуманной решимости, к тому, что французы называют «un coup de tête». – Черта замечалась потом у многих ближайших его потомков и заменяла у них настоящее мужество и нравственную выдержку.

Мы сейчас упомянули о бегстве со службы: легенда о жизни негра Абрама Петровича передает это известие в следующем виде. После смерти Петра I-го всеильный Меньшиков (1727) удалил его от двора, дав ему командировку в Сибирь, которую он самовольно покинул, но возвращенный с дороги, три года пробыл арестантом в гор. Томске. Долгорукие, которых он был сторонником, вероятно по ненависти к Меньшикову, не спешили, однако же, его восстановлением и, как кажется, по одной причине со свергнутым ими временщиком: и они, как Меньшиков, не любили сближать с Петром Н-м людей, близко знавших его великого деда. Со всем тем к концу своего владычества, Долгорукие, оставив его в Сибири, назначили майором в тобольский гарнизон. Ганнибал этим не удовольствовался, конечно, и прибег к обычному своему средству: он вторично убежал со службы и, на этот раз благополучно добравшись до С.-Петербурга (1730), явился прямо к Миниху. Это уже совпадало со страшной эпохой бирюзовщины. Пушкин замечает, что хотя Миних был и не робкого десятка человек, но испугался за своеобычного майора. Он его скрыл, как сказали, близ Ревеля, а в 1833 г. выхлопотал ему отставку, в которой Ганнибал и состоял до 1740 г., постоянно ожидая преследований и гибели, как заметили прежде. В этом году Миних, сделавшись главою государства, в свою очередь, при правительнице, не позабыл о беглом майоре, которому, вероятно, особенно покровительствовал за инженерные познания, столь им ценимые, и принял его снова на службу, дав ему место подполковника артиллерии в ревельском гарнизоне. С восшествием на престол Елизаветы, знавшей его еще мальчиком у отца, судьба Ганнибала достигла высшего своего апогея, давно желанных почестей и богатства. Не есть ли это карьера простодушного, взбалмошного,

но счастливого авантюриста? Все эти качества не исключают и замечательных способностей к чистым наукам, какие должно признать за Абрамом Петровичем¹⁰.

В числе бумаг, оставшихся после А.С. Пушкина, есть несколько выписок из рукописной немецкой биографии его прадеда, о которой он упоминает в своих заметках о нем, рассеянных по его сочинениям. Самые заметки эти основаны большею частью именно на этих выписках с прибавлением нескольких фамильных преданий, но есть между выписками и такие, которых поэт не употребил в дело, по причинам нам неизвестным. Как ни мало их число, но в общем рассказе Пушкина о своем предке они заслуживают получить свое место, как и те, которые им уже были приняты и обработаны – достоверность их совершенно одинакова. Таким образом, например, Пушкин полагает, что имя Ганнибала дано Абраму Петровичу Петром I, и тем противоречит немецкому биографу, который утверждает наоборот, что сама фамилия абиссинских князьков, из которой вышел Ганнибал, возложила на себя это громкое имя в память карфагенского Аннибала, от которого горделиво вела свое происхождение. Трудно теперь объяснить себе, почему Пушкин предпочел первую версию второй. По тому же немецкому свидетельству, абиссинские князьки составили в прошлом столетии союз с целью сопротивления туркам, были разбиты ими наголову, и Абрам попал, вместе с другими детьми, аманатом в Константинополь. Свидетельству этому не противоречит и другой документ: просьба, поданная самим Абрамом Петровичем в 1742 г., в сенат о снабжении его рода надлежащим гербом. Она, будучи чисто формального содержания, не заключает в себе ничего особенно любопытного, кроме начала, где проситель говорит о себе, не без тайной гордости, что родился «во владении отца моего, в городе Лагоне, который (sic) и, кроме того, имел еще под собою два города». Он прибавляет далее, словно не желая или стыдясь упоминать о своем пребывании в константинопольском серале: «выехал в Россию при графе Саве Владиславовиче волею своею в малых летах». Кроме попытки сберечь честь фамилии, в этом показании есть еще и благонамеренная служебная ложь, посредством которой истец старается обойти неприятные или щекотливые воспоминания для своего начальства, ибо сын Абрама Петровича, уже упомянутый Петр Ганнибал, в другом документе, который сейчас увидим, замечает просто о своем отце: «выкраден из константинопольского двора», – что согласнее с историей. Цель этого странного воровства заключалась, по мнению немецкого биографа, в том, что великий преобразователь России хотел показать своим русским, что образованность может быть доступна всем человеческим породам, и в новом русском государстве, им устроенном, открыть каждому человеку без различия происхождения путь к отличиям. Объяснение несколько натянутое и фальшиво глубокомысленное, ибо приобретение разными способами арапчиков и других иноплеменных экземпляров выходило из желания придать новому петербургскому двору вид пышности, а уже гений Петра I, забывая о первоначальной цели такого приобретения, принимался за развитие способностей, как только их находил в человеке, и давал ему потом поприще, соответственное их силе и объему¹¹. Кроме этих подробностей, выпущенных Пушкиным, много еще и других, касающихся до Ганнибала и сбереженных им в известном его собрании анекдотов (Table talks

¹⁰ После краткой, но обстоятельной и дельной монографии А.П. Ганнибала, составленной М.Н. Лонгиновым и помещенной в «Русском Архиве» 1864 г., № 2-й, все данные для жизнеописания знаменитого арапа, кажется, исчерпаны. М.Н. Лонгинов имел под руками и формуляр Абрама Петровича. Некоторые догадки и заключения, вызванные показаниями этого формуляра, отчасти подтверждаются, отчасти дополняются дальнейшим нашим рассказом, но общий характер биографии знаменитого негра остается, несмотря на эти официальные данные, все еще с оттенком легенды и предания, и признаков полной исторической правды вряд ли когда-либо и получить.

¹¹ Замечание это подтверждается еще и тем, что множество арапчиков было выписываемо и прежде и после Абрама Петровича из того же Константинополя ко двору и частными лицами. Многие из них и назывались Абрамами – именем, как будто уже усвоенным этим несчастным детям. Академик Пекарский упоминает о слуге арапе Абраме, отданном Петром I в обучение в школу при Александровском монастыре, где он проходил букварь. Это было в 1725 г., когда наш Абрам Петрович уже возвратился в Россию из Франции и произведен в гвардии-поручики. В «Русском Архиве» 1867 г. помещено еще известие о высылке П.А. Толстым из Константинополя к вице-канцлеру гр. Головнину трех других арапчиков в подарок, причем один тоже назывался Абрамом.

– «Росказни за столом»), не пущены им в дело. Все они имеют характер семейных преданий. Так, Пушкин рассказывает, что Абрам Ганнибал, состоя при Петре, переписывал у него, между прочим, то, что ночью, в темноте – приводим слова поэта – «вечно трудящийся дух царя чертил несвязно на аспидной» доске. Он сам учил его математике и языкам¹². Абрам Петрович добивался потом княжеского титула и оставил свои хлопоты только по совету старшего сына своего Ивана, говорившего, что для княжеского титула надо и княжеское имение.

Сводя в один краткий рассказ изыскания русских биографов, показания немецкого биографа и семейные предания, как они были записаны А.С. Пушкиным, судьба Абрама Ганнибала в последние годы царствования Петра Великого и затем в царствования четырех его преемников представляется в следующем виде. Два года (с 1723) Ганнибал прослужил в чине поручика бомбардирской роты л. – гв. Преображенского полка, куда помещен был, по возвращении из Франции, своим благодетелем, а по смерти Петра I-го, завещавшего Абраму Петровичу 2000 дукатов и поручившего его дочери своей – Елизавете, Ганнибал был определен учителем математики к Петру II-му: таково сказание немецкого биографа, принятое и Пушкиным. Об удалении арапа из Петербурга, о двукратном бегстве его из Сибири и о появлении его у Миниха было уже сказано. К последней подробности немецкий биограф прибавляет, что Миних скрыл его на первых порах в перновском гарнизоне, дав ему звание инженер-майора, а как никому не приходило в голову искать его в Лифляндии, то, пользуясь тишиной, Абрам Петрович женился (во второй раз) на немке-лютеранке, Христине Матвеевне Шеберг, дождался отставки, в 1733 г., купил на деньги, сбереженные от петровского наследства, имение близ Ревеля (мызу Корикула), и там поселился на целых 7 лет. К этим данным А.С. Пушкин, на основании семейных преданий, прибавляет, что эта Христина Матвеевна обходилась очень нецеремонно со своим супругом, не хотела называть третьего сына Януария настоящим его именем, трудным для ее немецкого произношения, и перекрестила его в Осипа (это был отец Надежды Осиповны Ганнибал – матери Пушкина), причем еще отзывалась о сожителе своим следующим образом: «шерне чорт делает мне шорна репят и дает им шертовск имя» («Росказни») Анекдот показывает, между прочим, и тон, господствовавший в этом семействе. С воцарением Елизаветы Петровны звезда Ганнибала высоко поднялась на горизонте. Особенно важен был для него 1742 год: он произведен был тогда в генералы-майоры, назначен ревельским обер-комендантом, и впервые при рождении сына Петра императрица пожаловала ему 500 душ в Псковской губернии, Опочецкого уезда, в Михайловской губе, где расплодившиеся его потомки еще недавно носили в народе собирательное имя «ганнибаловщины». Сам Абрам Петрович прикупил в Ингерманландии, в 55-ти верстах от Петербурга, мызу Суйду, впоследствии доставшуюся знаменитому Ивану Абрамовичу, где и похоронен. Старик умер 93 лет, оставив 7 человек детей и более 1400 душ имения. Он еще застал воцарение Екатерины II. Нужно прибавить, что в последнее время, будучи уже генерал-аншефом и александровским кавалером, Ганнибал носил звание «директора каналов Петровского, Кронштадтского и Ладожского». Чем ознаменовалось директорство это, и не было ли оно только почетным титулом – неизвестно. Вот и вся биография первого Ганнибала, в которой мифические сказания далеко еще не отделены от исторического основания, да вряд ли и могут быть вполне отделены: так они срослись друг с другом.

Из детей этого вельможи-арапа, один, именно генерал-аншеф от артиллерии, Петр Ганнибал, дожил до 1822-го года. Его-то именно и видел Пушкин, когда в 1817 году приехал в Михайловское с семейством прямо из лица. Забавно, что водка, которою старый арап подчи-

¹² Решаемся привести здесь еще анекдот из «Росказней», касающийся Ганнибала, и убеждены, что он не покажется странным в печати. Пушкин записывает: «Однажды маленький арап (в рукописи зачеркнуто Ганнибал), сопровождавший Петра I-го в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал в испуге: «Государь, Государь! Из меня кишка лезет». Петр подошел к нему и, увидя в чем дело, сказал. – Врешь; это не кишка, а глиста, – и выдернул глисту своими пальцами. Анекдот довольно не чист, но рисует обычай Петра».

вал тогда нашего поэта, была собственного изделия хозяина: отсюда и удовольствие его при виде, как молодой родственник умел оценить ее и как развязно с нею справлялся. Генерал-от-артиллерии, по свидетельству слуги его, Михаила Ивановича Калашникова, которого мы еще знали, занимался на покое перегоним водок и настоек и занимался без усталости, со страстью. Молодой крепостной человек был его помощником в этом деле, но, кроме того, имел еще и другую должность. Обученный через посредство какого-то немца искусству разыгрывать русские песенные и плясовые мотивы на гусях, он погружал вечером старого арапа в слезы или приводил в азарт своею музыкой, а днем помогал ему возводить настойки в известный градус крепости, причем раз они сожгли свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововведения, по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный опыт собственной спиной, да и вообще, прибавлял почтенный старик Михаил Иванович, – когда бывали сердиты Ганнибалы, все без исключения, то людей у них *выносили на простынях*. Смысл этого крепостного термина достаточно понятен и без комментариев. Не мешает заметить, что Петр Абрамович долгое время состоял под судом за растрату каких-то артиллерийских снарядов и освобожден был от него только влиянием своего брата, Ивана.

Вероятно, по просьбе своего внучатного племянника, А.С. Пушкина, этот генерал-от-артиллерии уступил ему листок своих записок, начатых гораздо ранее автором – в чине еще артиллерии полковника. Этот листок, сохраненный Пушкиным в своих бумагах, и служит печальным образчиком тех познаний в русской грамоте и той способности к логическому мышлению вообще, какими обладал генерал-от-артиллерии и родной брат исторического лица, Ивана Абрамовича Ганнибала. Вот этот листок, списанный нами, без малейшего изменения в слог и орфографию: «Отец мой служил в российской службе происходил во оной чинами и удостоился Генералом аншефского чина орденов святыи Анны и Александра Невского, был негер, отец его был знатного происхождения то есть владетельным князем и взят вомонаты отец мой константинопольского двора из оного выкраден и отослан к государю Петру Первому, детей после себя оставил Ивана – Генерал Поручика – Петра артиллерии полковника – Иосифа морской артиллерии второго ранга капитана – Исаака – морской артиллерии 3 ранга капитана; дочерей Елизавету, которая была за Пушкиным вдовою, Анну, коя была за Генерал Майором Нееловым, Софья за Роткирхом. Братья сестры и зятья волею Божию все вроде и чада помре; остался я один, я и старший в роде Ганнибалов; теперь начну писать о собственном рождении, происходящем в чинах и приключениях. Родился я в 1742 году Июля 21 число по полуночи в городе Ревеле где отец мой в оном городе был Обер-Комендантом; восприемники были за очно вечно достойна Императрица Елизавета Петровна достойной памяти с Петром Третьим – в то же время пожаловано отцу моему 500 Псковской Губернии». Здесь и обрывается, к сожалению, записка, не исполнив обещания повествовать о приключениях.

Что касается до третьего сына (деда Пушкина по матери) Януария или Осипа Ганнибала, то это был сорвиголова и ужас семьи. Впрочем, первые основы математического образования и ему доставили, разумеется, при покровительстве брата Ивана Абрамовича, звание «морской артиллерии капитана второго ранга», но он уже, кажется, не признавал для себя обязательными никакие гражданские установления и порядки. Было уже говорено прежде о том, как от живой жены он обвенчался с девушкой, которую обманул самым наглым образом, но эта проделка обошлась ему весьма дешево: по приказанию императрицы Елизаветы, разведенный с обеими своими женами, он был сослан только на жительство в свое имение, с. Михайловское, где и мог предаться вполне обычным сельским наслаждениям помещиков того времени. Первой и законной его жене, известной бабке Пушкина, Марье Алексеевне, выделена была при этом часть из его другого имения, именно сельцо Кобринно (Петерб. губ.), где она вместе с дочерью, будущею матерью поэта, и жила сравнительно в бедности, под охранением своего шурина, соседа, помещика Суйды и опекуна, Ивана Абрамовича Ганнибала.

Нужда и горе развили в Марье Алексеевне практический ум, хозяйственную сноровку и способность понимать предметы в их отношениях к действительной и повседневной жизни. Простота, ясность и меткость ее речи, впоследствии так восхищавшие Пушкина и друга его, Дельвига, обуславливались отчасти и ограниченным кругом понятий, в котором вращалась Марья Алексеевна и через который смотрела на остальной мир. Предание изображает нам ее, как настоящую домохозяйственницу, по образцу, существовавшему еще очень недавно. Девичья ее, слышали мы, постоянно была набита дворовыми и крестьянскими малолетками, которые, под неусыпным ее бдением, исполняли разнообразные уроки, всегда хорошо рассчитанные по силам и способностям каждой девочки и каждого мальчика. Отсюда восходила она очень просто до управления взрослыми людьми и до хозяйственных распоряжений по имению, наблюдая точно также, чтобы ни одна сила не пропадала даром и т. д. В этой сфере вырастала дочь ее, Надежда Осиповна – балованное дитя, окруженное с малолетства угодливостью, потворством и лестью окружающих, что сообщило нраву молодой красивой креолки, как ее потом называли в свете, тот оттенок вспыльчивости, упорства и капризного властолюбия, который замечали в ней позднее и принимали за твердость характера. Жених ее – скромный, рассеянный и застенчивый гвардейский офицер, Сергей Львович Пушкин, умел пленить прежде всего Ивана Абрамовича Ганнибала, который, решаясь выдать за него свою бойкую крестницу, примолвил: «он не очень богат, но очень образован». Предания о фамилии Ганнибалов на этом и кончаются. Мы покидаем ее для того, чтобы заняться ее антиподом, полной, совершенной ее противоположностью, именно фамилией Пушкиных.

Не мудрено, что чесменский воин, герой Наварина и проч., принял Сергея Львовича Пушкина за очень развитого человека. Будущий племянник должен был внушить ему уважение, как представитель нового поколения, успевшего развиться на других основаниях, чем те, которые существовали еще в его собственной, патриархальной, полудикой и полуграмотной семье.

Сергей Львович и брат его, столь известный Василий Пушкин, получили полное французское воспитание, писали стихи, знали много умных изречений и острых слов из старого и нового периода французской литературы, и сами могли бойко размышлять о серьезных вещах с голоса французских энциклопедистов, последнего прочитанного романа или где-нибудь перехваченного суждения. Никто больше их не ревновал и не хлопотал о русской образованности, под которой они разумели много разнообразных предметов: сближение с аристократическими кругами нашего общества и подделку под их образ жизни, составление важных связей, перенятие последних парижских мод, поддержку литературных знакомств и добывание через их посредство слухов и новинок для немолкаемых бесед, для умножения шума и говора столицы. К числу необходимостей своего положения причисляли они и ухаживание за всякой своей и иностранной знаменитостью и проч. Дом Сергея Львовича в Москве действительно посещаем был членами того блестящего литературного круга, который в начале столетия образовался там около Карамзина; в числе друзей и знакомых дома встречаются самые почетные имена того времени – Жуковский, А. Тургенев, Дмитриев и проч., вместе с именами заезжих эмигрантов, туристов, артистов. То же было и у другого брата. Разумеется, внешние формы их жизни при этом уже во многом разошлись со старыми, первобытными обычаями дворянского существования. Сергей Львович, например, терпеть не мог деревни, если она не была видоизменением или продолжением городской жизни, и ни разу не посетил иных наследственных своих имений, как, например, Болдина (Нижегородской губ.), в чем его упрекали родные и еще упрекают доселе биографы; но это отвращение от сельского уединения помогло отцу нашего поэта, по крайней мере, освободиться от наклонностей, замашек и привычек тогдашнего помещичьего быта. Бесспорно, это был своего рода прогресс, но, к сожалению, по крайней своей ничтожности и ограниченности, он мало изменял все другие нравственные стороны человека и ничего не изменял в положении людей, зависевших от наших утонченных землевладельцев. Когда,

гораздо позднее, для спасения Болдина послан был туда дельный управляющий, то он просто бежал из имения, при виде страшного разорения крестьян, в которое они были погружены беспечностью и *образованными* стремлениями помещика. Форма прогресса была не менее оригинальна и у Василия Львовича, но здесь нет надобности описывать ее, так как биография автора «Опасного Соседа» до нас не касается.

Вообще, следует заметить, что у обоих братьев не было и времени для своих собственных дел: они занимались только чужими. Люди, страстно искавшие всю свою жизнь гостинных и эффектных бесед, переносившие удачное бонмо, перед ними сказанное, из дома в дом, и, со своей стороны, сами занятые, для потехи других, тем, что французы называют деланием ума, *faire de l'esprit*, – такие люди уже, конечно, не имели ни времени, ни возможности устроить свое существование на прочных основаниях. Вот почему вся их жизнь, проведенная в беготне за высшим светом и модными формами существования, в толкотне между людьми и в пересудах слышанного и виденного, оставила их под конец материально и умственно разбитыми и несостоятельными.

А между тем, Василий Львович, принятый в «Арзамасе» после шутовской церемонии, устроенной В.А. Жуковским нарочно для него, как замечает Ф.Ф. Вигель, считался влиятельным литератором, а после своего «Опасного Соседа» достиг даже некоторого рода знаменитости¹³. Он заслуживал благодарности литераторов за неослабное свое хлопотание около них и около русской литературы вообще, в течении добрых 25-ти лет. Он уже едва двигался от подагры в 1830 г., но, сохраняя свою важную осанку, за которой скрывалось у него так много добродушия, легковерия и беспечности, продолжал толковать о журналах, и раз в одном из сильнейших пароксизмов болезни нашел минуту сказать окружающим: «Как скучны статьи Катенина об испанской литературе»! (в «Литературной газете», 1830 г.)¹⁴. Самая смерть его, последовавшая в тот же год, имела одинаковый характер с его жизнью. Нам рассказывал один из близких его знакомых, что раз, утром, больной старик поднялся с постели, добрался до шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда, заслоня друг друга, отыскал там Беранже, и с этой ношей перешел на диван залы. Тут принялся он перелистывать любимого своего поэта, вздохнул тяжело и умер над французским песенником. Сергей Львович скончался гораздо позднее. Закат его представлял нечто в роде правильного, логического вывода из всей предшествовавшей его жизни. Уже в глубокой старости, овдовелый, потерявший знаменитого сына и наполовину разоренный, он влюбился в ребенка, девушку лет 16-ти, соседку свою по Михайловскому (Александру Ивановну Осипову), и предлагал ей свою руку. Почтенному старцу пришлось пережить у дверей гроба все волнения юношеской и безнадежной страсти, начиная с пламенных посланий на французском языке и робких угодений предмету поклонения, до покорных жалоб на судьбу и горьких слез отчаяния. Он еще мечтал о браке, второй молодости, медовом месяце и проч.

Как ни забавно может показаться это чахлое подобие эпохи Людовика XV на русской почве, но оно имело и свою очень серьезную сторону. Благодаря праздности, внешнему существованию людей и пустому волнению их, оно еще вело неизбежно к расстройству и уничтожению состояния. Действительно, только при относительно громадных средствах можно было безнаказанно тешиться жизнью на манер философствующих маркизов и дюков прошлого века. Там же, напротив, где крепостничья нерасчетливость в соединении с невообразимым отвра-

¹³ Князь Шаховской, противник «Арзамаса», как известно, задетый в «Опасном Соседе», довольно забавно говорил про автора его: «Ну, не несчастье ли мое? Человек в первый раз, отродясь, сказал остроту – и то на мой счет». Впрочем, принадлежность «Опасного Соседа» исключительно одному Василию Львовичу подвергалась тогда сильному сомнению. Говорили, что поэма исправлена сообща кружком друзей, в числе которых был и всегдашний покровитель В. Пушкина, В.А. Жуковский. Ему приписывали и стих: «Прямой талант везде защитников найдет», направленный против кн. Шаховского и так много смеившийся партию антипишкеевскую.

¹⁴ См. анекдот, рассказанный г. Бартеневым в «Отеч. записках» 1853, № 11. Александр Сергеевич Пушкин, случившийся при этом в комнате, шепнул окружающим: господа, «Уйдем отсюда, пусть это будет последним его словом».

щением к какому-либо занятию одни могли бы потрясти даже солидное состояние – там подделка под развязную эпоху Людовика XV-го сопровождалась довольно печальными и вместе комическими последствиями. Известно, что Сергей Львович, из желания развязать себе руки вполне, передал все управление домом супруге своей, Надежде Осиповне, которая не менее его обожала свет и веселое общество, а в управление домом внесла только свою вспыльчивость, да резкие, частые переходы от гнева и кропотливой взыскательности к полному равнодушию и апатии относительно всего происходящего вокруг. Это уже лежало в самой ее природе. Вот почему нет никакой возможности сомневаться в истине нижеследующих строк, которыми один весьма умный наблюдатель описывает нам дом Пушкиных, когда они, в 1814 году, переехали окончательно на жительство в Петербург из Москвы: «Дом их, – говорит он, – всегда был наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой – пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословной неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана». Вот с чем могла уживаться претензия на образованность, и это еще при весьма достаточных средствах: Пушкины – владели тогда всеми своими наследственными и очень немаловажными имениями. Надо прибавить, что они никогда уже и не выходили из положения, описанного выше. Впрочем, и то следует сказать: один ли их дом представлял тогда хаотическое смешение крайностей и совместное существование признаков развития с крупными чертами доморожденных нравов, один ли их внутренний быт отличался помесью европеизма и терпимости к нелепому деревенскому обычаю?.. Вспомним одно любопытное свидетельство по этому предмету, кажется, раз уже и указанное в нашей литературе. Известный германский патриот и писатель Е.М. Арнт, сопровождавший барона Штейна в его поездке в Петербург (1812), рассказывает в своих записках об этом времени поучительный анекдот из сношений прусского реформатора с петербургской знатью. Барон Штейн очень любил одну весьма умную и благородную женщину из нашего высшего круга (графиню О., урожденную Стр.¹⁵), которая, со своей стороны, дорожила каждым словом знаменитого министра. Разговорившись однажды о лихимстве тогдашних наших провиантских чиновников, которые даже умели сделаться помехой русскому оружию и повредить русской политике вообще, барон Штейн привел почти в слезы свою слушательницу, указав с укором на собственный ее дом, наполненный воспитанниками и воспитанницами, в числе которых были и калмыченки: «Какого нравственного чувства, – заметил строгий барон, – хотите вы от собственных детей, когда они живут в обществе лиц с разнородными привычками, различных сословий, различных полов и возрастов до юношеского включительно? Где тут может развиваться и сохраниться в надлежащей чистоте чувство порядка, обязанностей, долга?» (Выдержка из «*Meine Wanderungen mit dem Freiherrn Stein*», Е.М. Арнта, в приложениях к «*Allgemeine Zeitung*», № 204, 1858 г.).

Возвратимся, однако же, назад к прерванному биографическому рассказу.

Через год после брака с Надеждой Осиповной, Сергей Львович, по заведенному тогда порядку, стал помышлять об отставке и переезде в Москву. Тотчас после рождения дочери Ольги (1798), он привел в исполнение свой план: покинул семеновский полк и уехал в Москву на покой. Здесь первым делом семейства было обзавестись подмосковной, как необходимым условием порядочной столичной жизни. Бабушка поэта, Марья Алексеевна, променяла свое Кобринно, близ Петербурга, на село Захарово, близ Москвы, которое тоже, в свою очередь, было продано, когда Пушкины задумали переселиться снова в Петербург. Вплоть до нашествия французов они жили попеременно, то в Москве, то в новой деревне, и в течение этого именно времени успел развернуться и обнаружиться характер второго их ребенка, сына Александра, рожденного в 1799 г., который так мало был похож на все, чего они могли ожидать от сво-

¹⁵ Муж графини, В. В. Ор., проживший потом много лет за границей, имеет в нашей литературе некоторую известность, как переводчик басен Крылова и других русских произведений на французский язык.

его семейства, что весьма скоро сделался для них загадкой. Из соединения двух разнородных фамилий и двух противоположных нравственных типов возникла натура до того своеобразная, независимая, уступчивая и энергичная в одно время, что она сперва изумила, а потом и ужаснула, как увидим ниже, своих родителей.

После всего сказанного нами, кажется, нет надобности распространяться о том, что при воспитании подобной натуры и подобного характера не только не было употреблено в дело какого-либо определенного правила или обдуманной системы, но даже и простого здравого смысла. Подробности о детских годах Александра Пушкина, приведенные в Наших «Материалах» 1855 г. со слов его родных, очень любопытны; но они ничего не говорят о началах и основаниях, принятых в семействе относительно воспитания нового его поколения, и не говорят потому, что, их, кажется, вовсе и не было. Да откуда и было им взяться при посторонних и внешних интересах, поглощавших все внимание как отца, так и матери этого семейства, при гувернерах и гувернантках с различными взглядами и характерами, при влиянии каждого, кто захотел, на детей, растерянных в этом множестве руководителей. В программе автобиографических записок, к сожалению, несостоявшихся или уничтоженных поэтом, встречаются лаконические слова его: «Первые неприятности – гувернантки. Мои неприятные воспоминания. – Кат. П. и Ан. Ив. – Нестерпимое состояние». Для того, чтобы в позднейшие годы жизни так настойчиво отмечать неприятности первых лет, даже три раза повторять почти одну и ту же мысль и фразу, надо было глубоко испытать в свое время горечь и оскорбление окружающей среды. Биографический смысл этих заметок для нас теперь потерян, да мы и не старались отыскать ключа к нему. Несколько маловажных, по всем вероятностям, фактов домашней или учебной жизни, которые он мог бы открыть, не очень нужны нам для того, чтобы отчетливо представить себе теперь обстоятельства, сопровождавшие детство поэта.

Часто случается, что все врожденные, темные и светлые силы характера долго спят в душе ребенка и не показываются на свет до тех пор, пока их не пробудит к жизни какое-либо обстоятельство. Нет никакой причины полагать, что такое решающее событие всегда должно быть серьезного, потрясающего свойства; напротив, в большей части случаев, оно, по маловажности своей, проскальзывает едва замеченное теми, которые были его свидетелями. Случается так, что роль таких пробуждающих толчков играет для ребенка легкая, испытанная им, напраслина, пустая, но незаслуженная обида, наконец, патетический рассказ, неожиданно попавшийся ему в руки и сильно поразивший его воображение и т. д. Чем-то в роде подобного толчка ознаменовались и детские годы А. Пушкина. Искрой, внезапно оживившей его природу и раскрывшей разнородные нравственные элементы, таившиеся в ней, была тут, как нам кажется, библиотека С.Л. Пушкина. Молодой Пушкин рос до 9-ти лет тяжелым, флегматическим, неповоротливым мальчиком (какая разница с энергией, подвижностью и неутомимостью позднейших его годов!). Первое искусственное и нездоровое возбуждение ума и страстей должно отнести насчет, так называемых, публичных *jeux d'esprit*, которые были в большом ходу у его воспитателей, да и вообще считались тогда хорошим педагогическим приемом, а второе следует возложить на распорядки почтенного Сергея Львовича, позволявшего детям присутствовать при приеме гостей и быть постоянными слушателями всех разговоров своего кабинета, только под условием молчания и невмешательства в беседу. Молодой Пушкин бросился со страстью к французской семейной библиотеке дома. Библиотека могла быть также и средством для него уйти от семейных огорчений, да она же еще и соответствовала тогда его ленивой физической природе, требовавшей покоя. Мальчика предоставили вполне его страсти, как и следовало ожидать от семейства с сильным «литературным» оттенком, и, разумеется, не заметили коренного перелома, который неожиданно совершился, благодаря этому обстоятельству, в физической и нравственной природе его.

Можно догадываться о составе библиотеки как по характеру Сергея Львовича, так и вообще по характеру библиотек того времени. Более, чем вероятно, что книгохранилище Пуш-

киных состояло из французских эротических писателей XVIII-го века, из философских трактатов сенсуальной школы, из Вольтера, Руссо, Гельвеция и самых крайних их толкователей. Зная это, мы можем уже определить и самую сущность перелома, совершившегося в молодом Пушкине. Прежде всего оказалось, что постоянное умственное, мозговое раздражение ускорило обновление и изменение его организма, уже подготовленное годами. Затем, параллельно с неустанным чтением, развился настоящий отроческий его нрав, тот самый, который несколько позднее видели лицейские товарищи и учителя молодого человека, оставившие и свои заметки о нем¹⁶. Библиотека отца оплодотворила зародыши ранних и пламенных страстей, существовавшие в крови и в природе молодого человека, раздвинула его понятия и представления далеко за границу возраста, который он переживал, снабдила его тайными целями и воззрениями, которых никто в нем не предполагал и, наконец, – что всего важнее – малопомалу воспитало великое самоуважение, не допускающее власти над собой и не признающее ее законности ни в каком виде, ни под каким предлогом. Как тогда отнеслись к этим новым проявлениям его личности домашние, наемные и не наемные его пестуны, что происходило между ним и воспитателями его – мы, конечно, не знаем. Можно полагать, однако же без особенного риска, что они были ниже предстоявшей им задачи успокоения, объяснения и направления этих первых порывов освобождающейся мысли. Надо сказать, что все брожение страстей не исключало у молодого Пушкина некоторого рода застенчивости и даже робости при людях, о чем свидетельствуют многие старые друзья этого дома. Известно, что застенчивость и робость часто бывают приметами высокого понятия человека о самом себе. В первых столкновениях с возникающим характером и нарождающимся образом мыслей, гувернеры и гувернантки, конечно, не могли играть очень благотворной роли для такого сложного характера, каким уже являлся молодой Пушкин. Они свели всю свою задачу на то, чтобы добиться от него наружного повиновения, и встретили совсем неожиданное сопротивление, которое устояло и перед попытками побороть волю мальчика развитием так называемой начальнической строгости. Все настойчивые или вспылчивые требования самих родителей приводили к одному и тому же результату, – яростному отпору. Молодое сердце, оскорбляемое ими и уже способное к вражде и ненависти, начинало не скрывать своих чувств. Так как ближайшая причина этого непонятного явления оставалась все-таки неизвестной воспитателям, то объяснение его одной жестокостью чувства и врожденным упорством ребенка само собой напрашивалось на ум. От этого уже недалеко было придти под конец к заключению о несчастной, извращенной природе мальчика, и после сожаления и негодования достичь, наконец, отвращения и ужаса. Так оно, если не ошибаемся, в самом деле и случилось.

Ограничиваемся этим кратким очерком семейных дел Пушкина, который мы и предприняли только для того, чтобы дать читателю правдивое понятие о первоначальном воспитании поэта. После всего в нем сказанного уже становится понятным единогласное свидетельство знавших дела семьи, что когда, в 1811 году, пришло время молодому Пушкину, ехать в Петербург для поступления в лицей, он покинул отеческий кров без малейшего сожаления, если исключим дружескую горечь по сестре, которую он всегда любил. Это подтверждает и друг поэта – И.И. Пущин. Будущий лицеист наш ничего не оставлял дома, и дом, провожая его в другую столицу, ничего не ожидал от него. Любопытно, что разрыв с семейством у Пушкина продолжался до 1815 года, когда успехи его в литературных упражнениях понудили тщеславного родителя его сделать первый шаг к примирению.

Заканчиваем эту главу сообщением дополнения к программе Пушкина для будущих несостоявшихся записок о годах своего детства и пребывания в лицее. Программа без этого дополнения была уже напечатана в наших «Материалах» для биографии А. С. П. (1855 г.).

¹⁶ Поразительные их отзывы о моральной стороне его воспитания и преждевременном развитии его ума и всех способностей увидим ниже.

Если бы программа была осуществлена поэтом, то, конечно, мы имели бы в литературе поучительную картину нравов эпохи и изображение главных ее личностей, после которой труд разъяснения дела значительно был бы облегчен для биографа. Вот это дополнение:

1811.

«Философские мысли. – Мартинизм. – Мы прогоняем Пилецкого.»

1812. 1813. 1814.

«Государыня в Сар. Селе. – Граф Кочубей. – Смерть Малиновского. – Безначалие.»

1815.

«Известие о взятии Парижа. – Приезд матери. – Приезд отца. – Стихи etc. – Отношение к товарищам. – Мое тщеславие.»

Мы скоро будем говорить о философских мыслях в лицее и об истории иллюмината Пилецкого, а теперь сделаем пояснение одного места в прежде напечатанной «программе», оставшегося не разъясненным, как и многие другие ее места. В нем Пушкин отмечает следующее: «Юсупов сад, землетрясение. Няня...» О землетрясении в Москве было уже говорено прежде, а Юсупов сад связывается с анекдотом из жизни Пушкина, когда он был еще годовалым ребенком. Няня его встретила на прогулке с государем Павлом Петровичем и не успела снять шапочку или картуз с дитяти. Государь подошел к няне, разбранил за нерасторопность и сам снял картуз с ребенка, что и заставило говорить Пушкина впоследствии, что сношения его со двором начались еще при императоре Павле.

II Лицей 1811–1817

Воспитатели. – Характер преподавания и воспитания. – Что такое была свобода в лицее? – Литература в его стенах. – Выпуск лицеистов.

Старому Царскосельскому лицейу посчастливилось у нас особенно, как в публике, так в литературе. Благодаря помещению лицея в загородном дворце государя, разобщению со столицей, которое поставлено было ему даже в закон, а также и слухам об исключительных заботах правительства, посвященных ему, – в обществе нашем возникло весьма высокое понятие о новом учебном заведении, а первый выпуск его воспитанников, представивший образцы получаемого там светского и литературного образования, еще укрепил веру в его значении. О литературе и публицистике нашей и говорить нечего. С самого возникновения училища и до последнего времени, они относились к нему более чем сочувственно и почти так, как можно относиться к событию первой важности для дела русского образования. Торжество открытия лицея в присутствии всего двора и знаменитейших сановников государства описывалось несколько раз, также точно, как и торжество первого выпуска лицеистов, и описывалось с искренним увлечением и великой подробностью. Мало того, порядки лицея, а также и жизнь первых учеников в стенах его удостоились весьма обширного, даже кропотливого описания в любопытных статьях В.П. Гаевского и в специальном сборнике «Памятной книжке Александровского Лицея на 1856–57 г.». Вместе с заметками бывших его воспитанников – М.А. Корфа, Ив. Ив. Пущина и др., труды эти представляют нам полную историю привилегированного заведения, – историю, которой только могут позавидовать все другие наши школы, менее осчастливленные вниманием своих соотечественников. Понятно, что мы не будем повторять факты и подробности этой хорошо всем знакомой истории, а только прибавим к ней несколько соображений, которые, может статься, помогут уяснить некоторые наиболее существенные черты ее.

Нет никакого сомнения, что с лицеем, при основании его, связывались надежды создать образцовое заведение, которое с одной стороны могло бы стоять вровень с наполеоновскими Lycées и английскими Collège той эпохи, а с другой – дать образец деятельности чисто русской, национальной педагогики. На это весьма ясно намекает самый устав заведения. Чем другим, как не надеждой достижения подобной цели объясняется и мысль подчинить лицей прямому, непосредственному наблюдению министра народного просвещения, который получал вместе с донесениями об общем ходе образования в России подробные сведения о способностях, характере и степени прилежания каждого из учеников лицея. Министр, граф А.К. Разумовский, на первых порах был, по отношению к лицейу, в одно и то же время министром, инспектором классов заведения и гувернером его: он клал резолюции также точно по важным вопросам преподавания, возникавшим в училище, как и по шалостям и проступкам населявшей его молодежи. Группа учителей, выбранная в руководители ее – Н.А. Кошанский, А.П. Куницын, Л.И. Карцов, И.К. Кайданов, потом А.И. Галич и др. – тоже свидетельствует об усилиях снабдить заведение лучшими представителями русской науки того времени. Трое из вышеупомянутых лиц были лучшими воспитанниками старого педагогического института¹⁷, преобразованного, как известно, в с. – петербургский университет в 1819 году, и конечно, можно сказать без всякого преувеличения, что все эти лица должны были считаться передовыми людьми эпохи на учебном поприще. Ни за ними, ни около них мы не видим, в 1811 году, ни одного русского имени,

¹⁷ Проф. Куницын, Кайданов и Карцов были посланы от него за границу, для окончательного своего образования.

которое бы имело более прав на звание образцового преподавателя, чем эти, тогда еще молодые имена. Таким образом, все было, по-видимому, предусмотрено и намечено как в уставе, так и в приложении устава и осуществлении его для того, чтоб дать лицу значение соперника лучших учебных заведений Европы. Уже в отчете за первый год существования лицея, конференция его гордилась способами обучения, ею усвоенными, «где каждая истина, – говорила она, – математического, исторического или нравственного содержания, предлагалась воспитанникам так, чтоб возбудить самостоятельность их ума и жажду дальнейшего познания, а все пышное, высокопарное, школьное совершенно удаляемо было от их понятия и слуха» (Отчет конференции за 1811–12 год, у Гаевского, в «Современнике» 1853 года). Позволительно, однако же, думать, на основании верных свидетельств, что конференция в этом случае более изображала собственный идеал преподавания, чем действительность. Так как жизнь вообще никогда не дает более того, что в ней заранее подготовлено, и во все самые пышные формы помещает только то, чем в данную минуту может сама располагать, то и здесь жизнь эта повела лицей совсем не по мысли основателей и не по идеалам их, а сообразно своей сущности, по собственному своему образу и подобию. Она-то и обманула все преждевременные надежды создать примерное педагогическое заведение в 1811 году на русской почве.

Было бы излишне говорить здесь о личном характере этих профессоров и системах преподавания, усвоенных ими: источники, приведенные выше, говорят об этом достаточно, и сообщения их по этому предмету, конечно, нисколько не страдают льстивостью, привлекательностью и эффектом своих красок. Особенно М.А. Корф, весьма компетентный судья дела, очень строго относится к ходу образования, существовавшего в лицее. Здесь достаточно будет вспомнить, что, по крайней мере, о трех из поименованных выше педагогов биографу совсем и не приходится говорить, если он имеет в виду их способы преподавания. Секретарь конференции и профессор Кошанский читавший древние языки и словесность русскую, еще поправлял сначала упражнения воспитанников в слоге и беседовал с ними о великих образцах древности с любовью и увлекательностью, приобретшими ему внимание и расположение слушателей, но не выдержал до конца: со второго курса он покинул преподавание, заболел, как мы слышали, болезнью, отысканной Гоголем у всех *умных* русских людей вообще. Математик Карцов, тоже принявшийся сначала очень горячо за дело, вскоре остыл к нему, и так как он был от природы юмористом и весьма остроумным человеком, то и проводил классное время не в чтении математических лекций, к которым никакого сочувствия в лицее не оказывалось, а в рассказах и выслушивании лицейских анекдотов, которые он подправлял своими замечаниями. Добродушный и слабый Галич, заместивший Кошанского в преподавании, пошел еще далее относительно угождения вкусам своих учеников, которые совпадали и с его собственными. Он, как известно, допускал устройство тайных студенческих пирушек в той самой комнате, которая ему отводилась в здании лицея на случай его приезда к своей кафедре философии. Выше их всех стоял, конечно, профессор логики и нравственных наук А.И. Куницын, как по достоинству своих убеждений, так и по прямоте характера, чуждавшегося служебных исканий и искавшего жизненной опоры в самом себе. Великолепные поэтические обращения Пушкина к нему и благодарное воспоминание всех других его лицейских слушателей достались профессору за то, что при самом начале курса он сообщал первые основания психологии собравшимся тогда вокруг него детям чрезвычайно объективно и образно, посредством рассказов, примеров, сближений и т. д., что всегда подкупает молодые умы и надолго в них остается. Позднее, когда во втором курсе профессор перешел к логике и философии права, он уже просто требовал буквальной выучки своих тетрадей, даже без всякого изменения слов, вероятно, не надеясь на самостоятельность мысли у своих слушателей или освобождая себя от труда способствовать ее развитию. Его упрекали вообще в наклонности к ленивому, апатическому существованию. По свидетельству М.А. Корфа, беседы учителя французской словесности, известного *де-Будри*, гораздо более способствовали к укреплению мыслительных сил в воспитанниках, которых он

постоянно старался приучать к отчетливому представлению и изложению того, что они слышали, видели, или что возникло в их голове. Мы должны прибавить, однако же, к этому отзыву, что Будри, родной брат Марата, по-видимому, не всегда выбирал для умственного развития лицеистов и для бесед с ними предметы, соответствующие характеру заведения. Это оказывается, между прочим, из анекдота, записанного Пушкиным и сохранившегося в его бумагах, который здесь и приводим: «Будри, профессор французской словесности при Царскосельском лицее, был родной брат Марату. Екатерина П-я переменяла ему фамилию, по просьбе его, придав ему аристократическую частицу *de*, которую Будри тщательно сохранял. Он был родом из Будри. *Он очень уважал память своего брата*, и однажды в классе, говоря о Робеспьере, сказал нам как ни в чем не бывало: *C'est lui qui sous main travailla l'esprit de Charlotte Corday et fit de cette fille un second Ravallac*. Впрочем, Будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминающую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный...» Добавим от себя, что Будри, перекрещенный на Руси, кроме того, еще и в Давыда Ивановича, уже имел предшественников в нашем отечестве, как, например, воспитателя графов С-ых, известного Ромма, впоследствии члена конвента, гильотированного термидорианами, и проч.

Конечно, при всех педагогических странностях, перечисляемых нами теперь, некоторое формальное знание предметов по утвержденной программе все-таки требовалось от учеников; но оно, во-первых, скоро достигалось, а во-вторых, в случае его недостатка, ловко маскировалось подставными вопросами и ответами, выбранными с общего согласия учителей и учеников: последние, успокоенные с этой стороны, уже свободно употребляли классы лицея для всевозможных произвольных занятий и бесед, нисколько не касавшихся той или другой науки. Говоря о педагогических странностях, нельзя опустить примера, доказывающего, что и сама администрация лицея способствовала немало к их расположению. Так, профессор Гауеншильд, основатель лицейского пансиона и человек весьма нелюбимый в училище за нрав свой, получил разрешение читать свой предмет, немецкую словесность, *по-французски*. Это было сделано для того, чтоб ознакомить с литературой Германии тех, которые презирали немецкий язык и не хотели изучать его, причем пожертвованы были все те, которые серьезно думали заниматься им, как справедливо замечает М.А. Корф. Пропускаем много других педагогических странностей в том же роде, обязанных своим существованием влиянию жизни и среды, из которых лицей почерпал своих сотрудников. Основы воспитания не были еще выработаны тогда ни у кого.

Если в таком виде представляется нам образовательная сторона лицея, то и другая, тесно связанная с ней, воспитательная сторона его повторила в иной сфере те же самые явления. После смерти первого своего директора (1814) В.Ф. Малиновского, брата известного археолога А.Ф. Малиновского, лицей без малого два года состоял под управлением членов своей конференции – профессоров, которые поочередно вступали в директорство, мешали друг другу и беспрестанно ссорились между собой, так что к концу этого срока, для восстановления порядка, в заведении, расстроенном его попечителями, оказалось нужным поместить в звание сперва инспектора классов, а потом и директора, военного человека из школы графа Аракчеева, отставного подполковника С.С. Фролова; но и этот воспитатель, энергически и очень своеобразно принявшийся за исправление школы, скоро был уволен, оставив по себе только массу шутовских воспоминаний. Весь этот период времени, вплоть до назначения, наконец, постоянным директором лицея уважаемого Е.А. Энгельгардта (начало 1816 года), Пушкин обозначает в приведенной нами программе своих записок эпитетом: время анархии. Другие воспитанники лицея называли ту же эпоху своего многодиректорства: междуцарствием. Легко себе представить, как искусно пользовались лицеисты всей этой путаницей, где, при отсутствии общей системы воспитания, каждый очередной директор-профессор вносил с собой новые требования, мало обращая внимания на исполнение прежде состоявшихся: отсюда главной

заботой молодого населения лицея делалось уже само собой достижение наибольшего простора для собственных своих вкусов и наклонностей. Хорошим доказательством того, что они успели приобрести в это время права, нигде не признаваемые за учащимся поколением, может служить одно лицейское событие, носящее в программе Пушкинских записок заглавие: «Мы прогоняем Пилецкого». Инспектор классов, Мартын Степанович Пилецкий-Урбанович, сектатор и мистик, попавший, под конец своей жизни, в монастырь за принадлежность к обществу накатчицы и пророчицы Татариновой, вызвал поголовное восстание лицеистов, по словам одних, своей религиозной навязчивостью, презрительными отзывами о семействах своих питомцев и иезуитским обращением, скрывавшем под личиной снисхождения много жестокости и коварства (барон М.А. Корф). Другие из тогдашних преследователей Пилецкого, которых нам удалось слышать, представляют характеристику его и все дело отчасти в другом свете. Они указывают именно на возмущенное *аристократическое* чувство лицеистов, как на первую, хотя и не единственную причину их самовольной расправы с инспектором. Пилецкий вздумал давать ласковые, но несколько фамильярные прозвания родственникам, сестрицам и кузинам, посещавшим в лицее воспитанников. Это обстоятельство показалось щекотливому чувству последних окончательно превышающим меру всякого терпения, и без того уже сильно потрясенного взыскательным, принижающим, ироническим обращением с ними воспитателя. Они собрались в конференц-зале, вызвали к себе инспектора и предложили ему дилемму: или удалиться из лицея, или видеть, как они потребуют собственного своего увольнения. Угроза, конечно, была не очень серьезного свойства, но Пилецкий отвечал хладнокровно: «оставайтесь в лицее, господа!» – и в тот же день выехал из Царского Села навсегда (покойный Ф.Ф. Матюшкин). На чьей бы стороне ни была тут истина, достоверно одно, что выбор подобного инспектора противоречил основной мысли, из которой возникло само заведение. Впрочем, близость лицея к анархии можно усмотреть с самых ранних пор его существования, даже при Малиновском. Чем иначе объяснить себе, например, разнохарактерность, царствовавшую в недрах ближайших помощников директора, надзирателей или гувернеров, где рядом с почтенным С.Г. Чириковым, состарившимся в своей должности, что, между прочим, могло произойти только при механическом ее исполнении, существовал более года гувернер А.И. Иконников, портрет которого оставил нам Пушкин и который, вследствие привычек неумеренной жизни, походил на сумасшедшего. Позднее еще было хуже: при директоре Фролове в число дядек-служителей успел пробраться даже уголовный преступник, имевший на душе, кажется, четыре или пять убийств.

Многое во внутренней жизни училища было исправлено, когда на важный пост директора вступил Е.А. Энгельгардт, при котором аристократическому чувству воспитанников уже не предстояло никаких испытаний. Наоборот, новый директор считал лучшей школой для молодежи общительность и светскость, развитые сношения с избранными кругами городского общества. Е.А. Энгельгардт был очень любим в лицее: он постоянно занимался сбережением так называемой *чести* заведения, горячо сопротивлялся нововведениям, которые могли бы извратить особенный, исключительный его характер питомника *хорошо-рожденных* детей и проч. Для всего этого, конечно, он уже принужден был скрывать и терпеть многие существенные его недостатки, начинавшие открываться отчасти и глазам посторонних людей. Оберегательство такого рода всегда и неизбежно соединено с потворством тому, что укоренилось в нравах и чему следовало бы противодействовать. Впрочем, на пятый год существования лицея и за один год с небольшим до выпуска первого курса, о новой системе уже нечего было и думать: школьное воспитание лицеистов почти что кончилось.

Результаты этого воспитания всего более сказались в усвоенных ими идеях о личной свободе и независимости, а потом в сильно развитом чувстве своего достоинства. Все это далеко, однако же, не походило на то, что лучшие педагогические теории Европы советовали воспитывать в молодых умах. Ни одна из первоклассных «*коллегий*» Англии, где воспитание признает

относительную свободу учеников важным элементом для образования их характера и укрепления воли, не согласилась бы предоставить им такую степень и такой вид независимости, какими пользовались лицеисты в черте родного своего города – Царского Села. Что они в своих мундирах с золотыми и серебряными, смотря по курсу, нашивками на воротничках были привычными посетителями всех гуляний, парадов и вечеринок, об этом говорить, конечно, не стоит; но существовали и привилегии другого рода для них: в последнем курсе и даже ранее они также точно посещали кутежи и пирушки гусарских офицеров, да не хуже их умели сплетать сети волокитств за горничными и нянюшками царскосельских жительниц, за актрисами домашнего театра, устроенного графом Варф. Вас. Толстым, и прибавим, на основаниях довольно патриархальных, так как артисты его нисколько не были избавлены от поощрений и наказаний отеческого характера. «Наташа», которой посвящено одно или два лицейских стихотворения Пушкина, принадлежала к первому разряду героинь лицейских, к нянюшкам; пьесы «К актрисе» – «Ты не наследница Клерон», обращены к представительнице второго – бедной крепостной артистке. Встречи на зимних катаньях с гор, а потом в тенистых аллеях Царскосельского сада, куда воспитанники часто пробирались, устраивались с надлежащей тайной и великой заботливостью, что, как известно, хорошо развивает чувственность вообще. Кроме того, в среде лицеистов по временам обнаруживалась и долго жила настоящая любовь: многим из них были уже совершенно известны все муки любви, обращенной к далекому, недостижимому предмету, и все обычные спутницы такой любви – ревность, грусть, немые страдания и беспричинные восторги, – словом, они переживали еще в стенах своего заведения полную историю молодых проснувшихся страстей. Отсюда тот горячий и эротический характер лицейских стихотворений Пушкина, который, вероятно, еще укрепил в директоре Энгельгардте то невыгодное мнение о характере и природе поэта, которое приведено г. Гаевским в его статье¹⁸; но вос-

¹⁸ Энгельгардт замечал, что ум Пушкина, не имея ни проницательности, ни глубины, – совершенно поверхностный, французский ум. Далее он прибавляет: «Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто (!); в нем нет ни *любви*, ни *религии*; может быть, оно так пусто, как никогда еще не было юношеское сердце. Нежные и юношеские чувства унижены в нем воображением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской литературы, которые он при поступлении в лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания» («Современник» 1863 г., № VIII-й, стр. 376). Последняя часть заметки имеет основание, но общий приговор, ею выражаемый, принадлежит к числу тех странных решений, которые во все времена слышались от официальных педагогов относительно замечательных детей, и которые потом удивляли потомство своею неосновательностью. В извинение заметки можно сказать, что не лучшего мнения о Пушкине были и некоторые его товарищи. Так, например, человек, имя которого очень высоко стоит в России и не безызвестно Европе, М.А. К., выражался очень строго о своем лицейском собрате: «Как в школе, – писал он в 1852 г., – всяк имеет свой собрикет, то мы его прозвали *французом*, и хотя это было, конечно, более вследствие особенного знания им французского языка; однако, если вспомнить тогдашнюю, в самую эпоху нашествия французов, ненависть ко всему, носившему их имя, то ясно, что это прозвание не заключало в себе ничего лестного. Вспыльчивый до бешенства, с необузданными, африканскими, как его происхождение (по матери), страстями; вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, избалованный от детства похвалою и ласками, которые есть в каждом кругу – Пушкин, ни на школьной скамейке, ни после в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении... В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших, нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам... и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда *говорил* даже более и хуже, нежели *думал* и *чувствовал*...» Иначе смотрит на Пушкина другой товарищ его, короче с ним сблизившийся, И.И. П.: для него Пушкин доброе, даже нежное по преимуществу любящее существо, но требовавшее, чтобы качества его души были отыскиваемы посторонними. Много пояснил И.И. П. относительно нерасположения товарищей к Пушкину, и в дальнейшем нашем рассказе об этом обстоятельстве мы следуем преимущественно его указаниям. Вот еще какую заметку проронил он, рисуя портрет своего детского друга: «Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали; все, что читал – помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) со скороспелками, которые по каким-либо особенным обстоятельствам, и раньше, и легче находят случай выучиться... Все научное он считал ни во-что, и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и проч. В этом даже участвовало его самолюбие – бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным, не по летам, в думы и чтение – и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее неспособный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли...» (Записки И.И. Пущина. «Атеней» 1859, № 8-й). Понятно, что примирение этих противоречий, а также и разноречивых показаний свидетелей может произойти только тогда, когда будет найден литературой и воссоздан художнически-полный тип нашего поэта, в котором примирятся и улягутся, психически-объясненные, все черты и данные, по-видимому исключаяющие теперь друг друга.

питатель сильно ошибался, заподозривая благородство самой души Пушкина и полагая сердце его пустым и извращенным с рождения. Пушкин доказывал противное еще в самом лице, не говоря уже о последующей жизни. Легко было бы распознать светлую, изящную сторону его натуры даже и по чистым, платоническим элегиям его, тогда же написанным им под влиянием одной лицейской любви. Они ходили по рукам и могли бы заставить хорошего воспитателя задуматься о многосодержательном, изменчивом и впечатлительном характере своего воспитанника, а также, может быть, и приспособиться к нему. Но до обдуманных нравственных и педагогических мер лицейское начальство было далеко.

При Энгельгардте, как и при всех других, жизнь школы текла по пробитому руслу, как умела и могла. Множество анекдотов уже рассказано историками лицея о времени последнего пребывания Пушкина и его товарищей в школе. К сумме их можно еще присоединить анекдот о знатной даме, встреченной лицеистами в переходах дворца, принятой ими за горничную и испытавшей всю невыгоду такого *qui pro quo*, что, как говорят, ускорило даже выпуск их из лицея; анекдот о встрече Пушкиным в доме барона Велио, старшая дочь которого была общей любимицей молодежи, государя Александра Павловича, о путешествии их к баболовскому дворцу, памятником которого осталась неизданная надпись Пушкина и проч. Кстати сказать, что стихотворение «К Катульскому памятнику» Пушкина (Воспоминаям упоенный), отнесенное изданием его сочинений 1855 г., а за ним и последующим, к 1821 году, написано ранее (30-го мая 1819 г.) и содержит тоже намек на одну из любовных шашней, которыми был так богат первоначальный лицей.

Со всем тем можно было бы смотреть на все рассказанные здесь подробности, как на мелочи, не имевшие в сущности значительного влияния на общий ход воспитания, если бы мы видели в стенах заведения что-либо похожее на нравственное *противовесие* свободе и независимости, им допущенной. Но именно этого и не было.

Замечательно, что одновременно с лицеем процветало в столице другое учебное заведение, институт иезуитов, которое гордилось обладанием строгой, неизменной и глубоко обдуманной системы образования и управления; но система эта была такова, что закрытие института в 1815 г. и окончательная высылка иезуитов из России в 1820 году должны считаться лучшими мерами администрации того времени. Институт составлял, по духу, обычаям и направлению, совершенную противоположность с лицеем, хотя также назначался для детей высшего сословия в государстве и был ими наполнен. Сколько лицей оставлял простора молодым людям для ранней критики всех школьных установлений и для неисполнения их, столько иезуитский коллегиум требовал подчиненности распорядкам заведения и приучал детей к уважению авторитетов, над ними поставленных. В коллегиуме, например, допускались еще телесные наказания, к которым патеры его прибегали с крайней разборчивостью, но и с твердостью, не оставлявшей ни малейшего сомнения в умах детей о неизбежности возмездия за каждую попытку к излишней самостоятельности. Система аудиторов и внутреннего шпионства каждого за каждым была тоже отлично устроена. Преподавание имело преимущественно в виду изучение математики и классических языков; оно шло исключительно на французском диалекте. Православной катехизации и особенно русской словесности оставлены были только самые тесные, совершенно неизбежные границы, так что о литературных упражнениях или ранних авторских попытках на отечественном языке, отличавших лицей от всех других школ, здесь не было и помина. Затем и институт предоставлял своим воспитанникам известную долю свободы, но его свобода разнилась с лицейской тем, что увеличивала ответственность лица, ею пользующегося. Каждый из питомцев, также как и всякий лицеист, имел свою отдельную комнату, но у иезуитов входная дверь комнаты снабжена была небольшим отверстием для наблюдательного глаза брата-гувернера. Эти комнаты, составляя спальни учеников, предназначались и для уединенных их занятий. Один из старых учеников института, слова

которого мы здесь повторяем¹⁹, рассказывал нам, что каждая подобная уединенная комната, со всем ее простором и свободой, была страшнее общей рекреационной залы: в отверстии двери поминутно светился испытующий глаз наблюдателя и часто приводил в трепет даже самого скромного и прилежного ее обитателя своей неожиданностью. Это походило как бы на всегдашнее, невидимое присутствие обличителя и беды. Тот же свидетель сообщил нам и следующий анекдот. Раз случилось одному воспитаннику очень метко, по русскому обычаю, передразнить какого-то старого патера, что, разумеется, известными каналами, всегда существующими в иезуитских обществах, дошло тотчас же до слуха самого предмета насмешки. Оскорбленный патер, выбрав вечернее время, потребовал виновного в капеллу и, одетый в белый стихарь, принял его там на ступенях алтаря, при двух свечах, молча... Покуда молодой преступник в торжественной тишине и полумраке капеллы приближался к месту увещания, он уже был подавлен стыдом и раскаянием. Пораженному обстановкой сцены, ему самому показалось, что в лице патера он оскорбил святыню и самое божество. Так умели рассчитывать директоры института на силу детских впечатлений, имея в виду еще более свое будущее влияние, чем настоящее²⁰. Понятно, что упразднение такого института было совершенной необходимостью. Гораздо позднее явились у нас опять, по-видимому, очень цельные, строгие и до мельчайших подробностей обдуманые системы воспитания (кадетские корпуса). В основании устава этих училищ тоже лежало требование порядка и подчиненности, но уже они были до такой степени бедны внутренним содержанием, что бесплодие их (а бесплодие училища есть и осуждение его) открылось всем глазам и потребовало коренных учебных реформ. Все это в порядке вещей. Чем проще, грубее, а стало быть, и доступнее большинству идея, которая положена в основу воспитания, тем она легче осуществляется. Русская педагогика шла развязно и самоуверенно, когда с помощью карательных мер, роскошно прилагаемых, добивалась порядка и дисциплины, но оказывалась всякий раз беспомощной и несостоятельной, когда задавалась какими-либо несколько сложными, нравственными требованиями; и уже никуда не годилась, когда поднимала трудные вопросы, в роде вопроса о соединении школьной подчиненности и понятия о долге с развитием самостоятельности и прямого характера в учениках. Первоначальный лицей может служить поучительным примером такой педагогической несостоятельности.

От полной нравственной пустоты лицей спасался, однако же, своим литературным направлением, о котором уже упомянули. Литературное направление лицея было плодом случая или порока в системе, предоставивших дело образования самим молодым людям, в нем собранным. Мы не говорим, чтобы все слышимое лицеистами от профессоров пропадало втуне для всех их, чтобы не было между ними умов, прилежно занятых усвоением научной программы, существовавшей в лицее: мы только представляем общую картину лицея, оставляя в стороне исключения, даже блестящие, которые там несомненно примешивались, как и везде, к основному правилу. А основным правилом было самообразование почти на всей воле учащихся. В последнее время некоторые из наших педагогов выражали мнение, что подобное самодельное образование толпы учеников и есть единственное условие их нравственного развития, а всякое влияние со стороны есть не более как помеха ему и школьная тирания; но по крайней мере эти педагоги все-таки имели в виду, что у каждого такого свободно развивающегося мальчика существует уже основной нравственный капитал в народной культуре, в определенных воззрениях того сословия, к которому он принадлежит²¹. Здесь и этого не было. Они принуждены были приискивать сами ответы на каждый вопрос, возникавший в их уме, и вот почему кинулись на библиотеку лицея, помещавшуюся в арке Царскосельского дворца. Она

¹⁹ Покойный граф Н.И. Ш., сам воспитывавшийся в коллегии.

²⁰ Известно также, что православные дети исполняли и обязанности «служек» – *garçons du chœur* – при католических обеднях в коллегиуме, что предрасполагало их к обрядам и уставам чужой церкви.

²¹ Эту мысль особенно выражал граф Л.Н. Толстой, которого, несмотря на его увлечения и неудачи, нельзя не причислить к замечательным русским педагогам.

сделалась для его воспитанников единственным источником, из которого каждый почерпал свои вдохновения и мимолетные созерцания, сменявшиеся одни другими. Пушкин и в лицее сохранил страсть к чтению: мы уже знаем, что товарищи признавали за ним некоторое преимущество; он и тогда думал и говорил о таких предметах, какие им и в голову не приходили; он часто рассказывал им содержание своих чтений и не затруднялся при этом передавать им целые истории и романы, по большей части им вычитанные, которые он очень добродушно выдавал за плоды собственной фантазии. Важнее этих рассказов были, однако же, те решения важнейших вопросов религии, нравственности и жизни, до которых лицеисты доходили сообща, с помощью своего беспорядочного чтения и своего самородного философствования кружками или артелями. В программе записок Пушкина, приведенной нами, стоят слова: «философские мысли», а в другом месте – («Материалы для биографии А.С.П.», 1855) мы привели даже и проект его философской повести: «Фатама или разум человеческий», но сущности господствовавших между лицеистами учений и созерцаний мы все-таки хорошенько не знаем²²

²² Воспитанник лицея А. Илличевский извещал одного приятеля своего тогда же, что «Пушкин пишет комедию – философ» («Р. Арх.», 1864, № 10)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.